

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН

## СИБИРСКОЕ УЗОРОЧЬЕ

*Байбородин А. Не родит сокола сова: роман и повесть. М.: "Вече", 2011. — 416 с. ("Сибиряда")*

Дал Бог отраду: попала ко мне в руки свежая книга сибирского писателя Анатолия Байбородина о старой советской деревне. Чтение её сродни работе со средневековой русской скорописью. Разобрать почерки XVI или XVII веков — дело непростое. Но как только добираться до смыслов, укрытых древним способом письма, в душе начинает звучать праздничная торжественная мелодия.

Книга написана необычно и даже вызывающе. И в обоих произведениях Байбородина повествование таково, словно солнце большого направления в русской литературе — «деревенской прозы» — ещё не закатилось, будто оно не упало уже за линию горизонта, а всё ещё чертит на небе огненную дугу, поднимаясь в зенит. То, что написал Байбородин, может быть, и равно зениту деревенской прозы... вот только широкая её дорога уже заколодела, заросла осинником, размылась ручьями и болотами в неровную, едва видимую среди лесных чащоб нитку.

В сборник вошли известный роман «Поздний сын» и повесть «Не родит сокола сова», сюжетно связанные с одной местностью близ Байкала. И там, и там время от времени звучат имена сёл Укыр, Сосново-Озёрск, Еравна. Действие в основном сосредоточено на хрущёвских и отчасти брежневских временах: середина 1950-х — середина 1960-х. Но это лишь ядро его, основа, а корешки заглублены и в проклятое время раскулачивания, и ещё подале — в реальность дореволюционной Сибири. Отросточки же, тянущиеся кверху, к нашим временам, доходят до 1990-х годов.

Ранние версии этих двух повестей создавались с хронологической дистанцией в пять лет. Видно, как христианское чувство автора, редкими крупными, слабыми вспышками трепещет в романе, а в повести уже горит ровно, сильно. И не менее того видно, как старые, советской поры смысловые пласты перемежаются пластинами современными — в обеих вещах.

Большинство наших деревенщиков, в том числе лучшие из них, повествовали о древнем «ладе», сохранившемся до послевоенных времён и тогда начавшем разрушаться. Боль от крушения прочных устоев сельского мира пронизывает их повести и рассказы. Она — как шильце, всаженное в сердце, она возвещает о гибели того, чему нельзя умирать ни при каких обстоятельствах.

У Байбородина — другое. Без сомнения, он любит деревенский «лад» не меньше других деревенщиков, вот только гибель старинного мироустройства

относит к иным временам. То и дело в его произведениях громяют раскаты коллективизации, то и дело поминают его герои эпопею раскулачивания. О горестном времени, невозвратно расколовшем русскую деревню, Байбородин пишет без прикрас. Горечь его сродни самым печальным страницам в романах “Мужики и бабы” Бориса Можаева и “Год великого перелома” Василия Белова. И ещё горше она оттого, что Байбородин не скрывает: до наших дней звучит огненное эхо раскулачивания и расхристывания крестьян. До сих пор не расхлебали той каши, подсоленной слезами... Похождения безродного злого бабника Гоши Хуцана, ставшего большим человеком, тёмная история пришедшей семьи Лейбманов, потеря зажиточным семейством Краснобаевых родового дома – всё это наводит читателя на мысли: вот тогда-то, задолго до Великой Отечественной, и умер “лад”. Страдания военных лет в какой-то мере сплотили деревню, но прежнего единства даже общая Победа не вернула. И боль, наполняющая произведения Байбородина, – какая-то привычная, словно застарелая хворь, становящаяся то гибельнее, то легче, не прекращающаяся никогда, однако ж стонов и криков не способная исторгнуть у понимающего человека. Лад скончался. Давно. Но это... как давно скончавшиеся родители: вот тут, в сердце, в крови, в пульсе осталось горе от их ухода, но уж поздно голосить по ним.

К середине 50-х, к злому времени хрущёвского разорения, деревня пришла искалеченной и усмирённой. Вот идёт она по миру с согбенною спиной, опираясь на клюку... Храм в ней разрушен. Община давно исчезла, а о колхозном и прочем начальстве, заменившем её, доброго слова не скажешь. Что ни двор – то всё бедность, скудость, а где всё ж есть достаток, не видно в нём полной праведности. Рядом с нищетой цветёт пышным цветом бестолоковый буйный задор. Эта новая деревня отошла от прежней боязни срама и греха. Злая пьянка стоит здесь чуть не каждый день, и вовлеклись в неё мужики, ещё недавно считавшиеся крепкими, домовитыми. Валентин Распутин в знаменитых пьяных сценах повести “Последний срок” показал краешек неистойой хмельной стихии, Василий Белов в “Привычном деле” явил частицу её, всего-то частицу, а и то страшно вышло, мерзко, грустно; Анатолий Байбородин показал её во всей красе, на многих десятках страниц, и оттого, читая, порой чувствуешь себя запертым в тёмной тюрьме без выхода и срока... Родня, соседи, старинные товарищи, сойдясь, потчуют друг друга презрением, гневом, корыстными расчётами. Муж корит жену куском хлеба, сын жестоко избивает отца, молоденькая девушка боится искать управы на бешеного насильника. Молодуха из города, найдя мужа в крестьянской семье, нос воротит от новой родни и деревенского быта: “Хватит, сыты по горло, нагледелись”, – а отец её, Исая Лейбман, приехавший на свадьбу, цедит: “Как были дикарями, так дикарями и остались”...

Темень! Темень!

Что ж осталось-то? Осталось ли хоть что-то, хоть какая-то надежда?

Осталось много! Боли, страданий, жертв – море разливанное, зато и любви никак не меньше, иначе каким чудом спасается народ? Вот бескорыстная, преданная любовь Аксиньи Краснобаевой к её семье – к мужу-пьянице и тьмочисленным детям, едва не вогнавшим её в гроб прежде времени. А вот тихая, смиренная, праведная любовь Ивана Житихина, никого не смеющего укорять, бегущего всякой ссоры. С мученической простотой Житихин подставляет себя под жестокий удар, спасая горделивого “мудреца” Исая Лейбмана от увечья в пьяной драке. Кто ему Лейбман? Чужой человек. Но Житихин любит его, как своего, покоряясь истине, которая выше какой угодно земной правды.

Нет, надежды Байбородин дарует достаточно. Бог над нами, он всё видит, любит нас и не бросает. Он-то и есть наша главная надежда, самое верное упование. Он гордое гнет, а кривое выпрямляет. Казалось бы, самый бесстыжий, до потери образа Божьего извалявшийся в нравственной грязи персонаж – Гоша Хуцан, ну какое ему исправление? Он храм погубил, он столько зла принес! Поговаривал уже в зрелые годы, давным-давно пережив юношескую дурную прямоту: “А народишко русский... он же скотина безмозглая, одного бича слушается... без хозяина с бичом жить не свычен... Ему царя-батюшку да опий – религию, мало-мало корми, а там хошь запрягай. А чуть что, сразу тебе анафему – религия такая...”. Но и его Господь привёл к раскаянию, к исправлению, хотя бы и под занавес жизни. Байбородин под-

водит читателя к смиренному отношению к людям, очнувшимся от зла на пороге последних врат, подобно евангельскому разбойнику, попавшему на Голгофу вместе со Христом. Не напрасно же над повестью “Не родит сокола сова” поставлен эпиграф: “Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил”.

А венчает повесть ещё один знак доброй надежды. Местный храм погиб в 30-х. Но на его месте нарождается новый, юный: “Словно крашеное луковым пером пасхальное яйцо, выкатилось солнце из-за таежного хребта, стирая ночной морок с деревенских изб и озера, и в утренней заре засияла церковь со сновыми венцами. И уже виделись пылающие золотом кресты и слышался пасхальный звон, плывущий над селом и озером и гаснущий в дали, где степь сливалась с небесами”.

Даже уделив место описаниям колдовства – что в обоих произведениях стало частью реалистического повествования, – Байбородин впоследствии печалится, что поддался соблазну “народной поэтической стихии”. В одном из интервью журналу “Парус” Байбородин выражает свою позицию без полутонов: “В сибирском крестьянском быту народное мировоззрение, в отличие от южнорусского, окончательно освободилось от языческого поклонения матери сырой земле, природным стихиям, взойдя к пониманию природы как Творения Божия”.

Советская деревня – не говоря уж о досоветской – к настоящему времени превратилась в “исчезнувшую империю”, сокровища на периферии другой империи... которая исчезла ненадолго позже. Это Ахеменидская Персия на дне давно умершей Парфии. Или, может быть, Ассирия на дне Персии. Анатолий Байбородин с умом, любовью и талантом расплетает для читателя сложные узлы умершего языка, умершей культуры.

Оба его произведения, и особенно повесть “Не родит сокола сова”, правильно было бы считать своего рода “художественными документами”. Там почти нет сюжета. Автор выбирает ситуацию (деревенская свадьба в “Позднем сыне”) или персонажа (колхозный начальник и яростный блудник Гоша Хуцан в повести “Не родит сокола сова”), а затем... будто запускает маятник. Читателя то уводят в давние времена, то возвращают к точке отсчета, с которой началось повествование, то тянут в будущее, то вновь приводят к “осевому времени” текста и опять гонят в прошлое. Дают разглядеть характеры человеческие то издалека, то крупным планом, то погружают в самую глубину их, то подают в динамике, да ещё и в окружении других, не менее сложных характеров. Но почти всегда читатель видит всё происходящее либо глазами самого автора, родившегося в том же Сосново-Озёрске на излете сталинского времени, то глазами мальчика Ванюшки из крестьянской семьи Краснобаевых, а это до предела авторизованный персонаж, во многом автобиографический. Вот и выходит: отчасти написанное Байбородиным – роман, повесть, отчасти же – беллетризованные мемуары.

Байбородин работает в очень сложной, полнокровной русской стилистике. её можно назвать затейливой, резной или узорчатой, – как наличники у окон старого деревенского дома, как настоящая жизнь, как настоящий живой язык. Речь его полна слов старинных, коренных, русских, пусть и полузабытых, украшена словесными самоцветами из сибирских залежей, приправлена обрусевшей бурятской говоркой: “Ближе к вечеру заимский гость уже смущённо жался на лавке, возле стола, где мутно подсвечивала среди рыбных пирогов и творожных шанег четверть медовой сыты. Ярко горела трёхлинейная керосиновая лампа, и на копотных венцах, по белой печи мельтешили пляшущие тени, бойко стучали в половицы чирки и чоботы”.

Интонации старой деревни, её присловья, давно канувшие в Лету, глумная едкость острого выраженьица и тягучая процерковленность крестьянских размышлений о тонких материях бытия приковывают внимание к языковым конструкциям автора, заставляя пренебрегать сюжетными, коих и нет почти... Оттого повествование приобретает густоту меда с творогом, шероховатость древесной коры и медленность колодезного ворота, неспешно опускающего ведро в колодец за водицей.

Диалоги у Байбородина быстры и колючи, а описания текут плавно, словно большие равнинные реки, задавая до крайности неторопливый темп его прозе. Он, может быть, специально подчёркивает свой отказ от высокой скорости текста, любовно выводя длинные и сверхдлинные предложения: “Степенно снял каракулеву шапку, долгополое кожаное пальто и повесил на бе-

рёзовую спичку, вбитую в избяной венец; оставшись в тёмно-зелёном кителе и чёрных галифе, промялся по кухне, смачно скрипя сшитыми на заказ, ладными хромовыми сапогами и с кряканьем потирая руки. В полувоенной справе Гоша, будучи ростом аршин с шапкой, смахивал на задиристого деревенского кочета, хотя и трудовая мозоль подпирала китель, а плечи жирно обмякли”. Или – о старой крестьянке Аксинье Краснобаевой: “Отрадный и спасительный свет в материном окошке – чада и натужная работушка, какую азартно подтягивала и подтягивала к себе, даже порой отнимая её у подросших ребят и девок... Даже, бывало, обезножит... ещё смолоду маялась ревматизмом, прижитом на рыбалке, где от темна до темна в стылой воде и болотистых покосах, когда одна обужа – сыромятные моршни... бывало, ноги едва волочит, а всё шоркается по кухне, держась за стул и пихая его впереди себя, словно поводыря. Рыбёху ли свежую пластает, солит ли в деревянный лагушок, тесто ли месит в квашенке, брушину ли скотскую скребёт, чтобы бросить её вместо мяса в суп, картошку ли трёт на крахмал, шерсть ли прядёт, только не сидит сложа руки”.

Такое ни при каких обстоятельствах нельзя прочитать быстро. Нет способов! Как видно, сам сибирский писатель и не желает, чтобы его читали быстро...

Если бы на выставке современного текстиля – со всеми там промышленными дизайнами, новой техникой, “сочетаниями цветов”, “процентом синтетики” и т. п. – неожиданно появился “покроец” или “воздух”, вышитый золотом и украшенный речным жемчугом, точь-в-точь как делали это в XVI веке (в царицыной мастерской палате, скажем, на вклад в большую обитель ради “чадородия”)... это вызвало бы изумление. Какая там промышленность! Тут месяцы очень сложной, кропотливой, искусной ручной работы, если только месяцы, а не годы. И думаешь: “Нет, странно и даже нелепо всё это выглядит на фоне современных простыней и наволочек фабричного производства. Архаизм какой-то”. Отвернёшься, уйдёшь в другой зал, смотришь, смотришь, а сердце тянет вернуться – такая красота!

Ты возвращаешься и любишься.

Вот так и с произведениями Байбородина...